



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

Содержание

II

НОЯБРЬ
1991

Николай Клюев. Песнь о Великой Матери	3
Татьяна Толстая. Лимпопо	45
Лев Лосев. Стихи	71
Артур Хейли. Вечерние новости. Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Н. Изосимовой. Продолжение	81
Михаил Айзенберг. Стихи из шестого рукописного сборника	148

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Неизвестный Достоевский	
Ф. М. Достоевский. Сцена в редакции	154
Алексей Эйсснер. Из воспоминаний...	160

Публицистика

Г. Померанц. Долгая дорога истории	177
------------------------------------	-----

Критика

Ст. Рассадин. Голос из арьергарда	199
-----------------------------------	-----

Москва
Издательство
«Правда»



НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

Понимание долга и назначения писателя на земле для Ф. М. Достоевского было неотрывно от непосредственного участия в общественной жизни своего времени. В 1861—65 гг. он — фактический соредактор журналов «Время» и «Эпоха», спорит с Катковым и Щедриным, со славянофилами и западниками. В 1873—74 гг. редактирует газету-журнал «Гражданин», а в 1876, 1877, 1880 и 1881 гг. выпускает «Дневник писателя». Можно сказать даже, что романы он пишет в перерывах между общественными бурями, набравшись сильных и острых впечатлений. А можно сказать иначе: нетерпение гражданина побуждало художника использовать свой дар, чтобы повлиять на сегодняшнее, сиюминутное состояние умов.

Год и четыре месяца был Достоевский редактором «Гражданина». Надо отдать должное мужеству писателя: он пришел в издание, уже осмеянное всемогущей либеральной и радикальной прессой. «Гражданин» при нем поумень, но переделать кардинально состояние дел новому редактору так и не удалось. Достоевский не стал единоличным хозяином издания, целиком определяющим его направление; издателем и ведущим автором продолжал оставаться не весьма далекий консерватор князь В. П. Мецкерский.

В «Гражданине» Достоевский начал печатать «Дневник писателя», вел обзоры иностранных событий, известно несколько его фельетонов, рецензий. Но и это, кажется, не все. Множество материалов еженедельника печаталось анонимно. Среди них еще сокрыты статьи, принадлежащие самому автору. Корпус недавно завершено академического тридцатитомного собрания сочинений Достоевского может быть пополнен. Разумеется, художественная и идейная значимость этих пополнений несопоставима с прославленными шедеврами, многое писалось в спешке, однако нам интересно все, что вышло из-под пера гения.

Предлагаемая читателю «Сцена в редакции одной из столичных газет», напечатанная без подписи в «Гражданине» 22 октября 1873 г., — эпизод из литературной борьбы, которую вел Достоевский с поверхностно-либеральной, неумной и амбициозной журналистикой. Его ирония, юмор были весьма острым оружием в этой борьбе за чистоту литературных нравов.

Придуманные Достоевским «псевдонимы» предельно прозрачны. Газета «Звук» — это петербургский «Голос», а «маститый редактор» — издатель и редактор «Голоса» А. А. Краевский. Узнаваемы и другие сотрудники «Голоса», тонко спародированные Достоевским.

В. В. Виноградов предположительно приписал эту «сцену» Достоевскому («Русская литература», 1969, № 3), но... не привел ни каких доказательств, кроме интуитивной догадки об идейной и стилистической связи «сцены» с другими сатирами Достоевского на А. А. Краевского. Посему редакция тридцатитомного собрания сочинений Достоевского имела все основания отвергнуть предположения ученого, правда, добавив: «вопрос требует дальнейшего изучения». На наш взгляд, имеются достаточно неопровержимые аргументы в пользу авторства Достоевского (они приведены после текста «сцены»). «Сцена» печатается с сохранением авторской пунктуации.

СЦЕНА В РЕДАКЦИИ ОДНОЙ ИЗ СТОЛИЧНЫХ ГАЗЕТ

Кабинет Маститого редактора газеты «Звук». Все сотрудники в сборе. Выходит Маститый редактор.

Маст. ред. Господа, я пригласил вас по случаю подписки. Надо объявлять подписку.

(Изо всех ртов раздаются звуки, в целом как бы жужжание мух).

Один голос. Так что же, не новость.

Сотрудник Дубльве. «Новости»? Нет, будет почище «Новостей»-с! ¹

Отец Нил. Эх вы, с вашим остроумием! Приберегите себя к четвергу.

Дубльве. Берегу-с и берегусь! Маститый, я имею к вам просьбу: нельзя ли мне псевдоним изменить? Мне Дубльве надоело.

Маст. ред. Видите, сотрудник, мне Дубльве потому нравится что начинается с Дубль? ² А впрочем вы бы как желали подписываться?

Дубльве. Так как я фельетонничаю по четвергам, то я и выдумал себе подпись: Четверговая соль ³.

Маст. ред. Гм.. Клерикально. Нельзя. Вот что, господа, я вообще желаю чтоб были псевдонимы или полные подписи, а то все неподписанные статьи мне приписывают. Все думают что это я сам написал. Пусть пишут те у которых денег нет, а я может нарочно и копил для того, чтоб уж о перья больше рук не магать.

Отец Нил. Да неужто вы так презрительно на нас литераторов смотрите?

Маст. ред. То есть не презрительно, а так... Шекспир, господа, чуть-чуть лишь сколотил копейку и — тотчас на родину, чтоб только в литературе не пачкаться. Литература — это занятие нищих и завистников. Процветание литературы есть только признак нищеты в государстве, признак присутствия умственного пролетариата — самый опасный признак, какой только может быть. И потому издатель газеты — есть, так сказать, спаситель отечества, давая хлеб завистливому пролетариату. После того как же ему денег не брать? Теперь, господа, к делу. Господа, я вот именно хотел заметить, что у нас нет остроумия ⁴.

Голоса. Как нет остроумия? Это у нас-то нет остроумия?

О. Нил. Кто это ему внушил? Ведь непременно от кого-нибудь слышал. Вот теперь и наладит.

Маст. ред. Да, господа, если мы чем хромаем так это остроумием. У всех остроумие, у нас нет остроумия.

Опытный сотрудник отцу Нилу. Так и есть наладил; теперь его не собьешь.

О. Нил. Маститый, помилуйте, где же у всех остроумие? Это в «Ведомостях»-то ⁵ что ли?

Маст. ред. Да, там все-таки почище. Именно, отец Нил, говорят что у нас лакейское остроумие. Много раз слышал.

О. Нил (махнув рукой). Эх, да ведь как же иначе!

Маст. ред. Да по мне все равно, но...

О. Нил. Эх, Маститый, нынче излишним-то благородством «чувствий» ничего не возьмешь!

Опытный сотр. Сунься-ка с благородством-то, подписываться не станут.

Маст. ред. Вы так думаете? Так как же быть? А я именно насчет подписки. Ну так если нельзя с благородством, так пишите... без благородства, только чтоб подписка была. Нумера прискучили (жужжанье). Покупают потому что бумага мягкая. Надобно подживить. Ну там известица... Научки... Какой-нибудь там отдельчик... Повестца... Остроумице... Одним словом подпустить, подпустить! (вертит рукою). Ну, там все эти идейки, идейки! Вот тоже у нас нет идей. У всех идеи, у нас нет идей.

Опытный сотр. У кого это у всех? Ни у кого нет идей.

¹ «Новости» — ежедневная газета, основанная в 1872 г., была тогда мелким листком известий и объявлений. В фельетоне «Литература и жизнь» («Голос», 1873, 11 октября) В. возмущался тем, что «Гражданин» поставил «Голос» в один ряд с «Новостями» ²

² Т. е. нравится созвучием с «рубль».

³ Фельетоны «Литература и жизнь» печатались в «Голосе» по четвергам. Четверговая — соль, пережженная с квасною гущей в великий четверг, с нею едят на пасху яйца, кроме того, она считалась в народе лекарством от всех болезней.

⁴ Возможно, отклик на выпад Достоевского в главе «Бобок» «Дневника писателя». «Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательство вместо остроты принимаются». Впрочем, «Гражданин» не раз укорял газету Краевского в отсутствии остроумия.

⁵ Имеются в виду, скорее всего, «Санкт-Петербургские ведомости», где тогда сотрудничали В. П. Буренин, А. С. Суворин.

М а с т . р е д . Как нет идей? Это денег нет, а идей всегда целый воз. Последнее дело.

О . Н и л . Именно нет идей. Идеи перестали. Я так и пишу, так и пригоняю, чтоб концы и начала прятать. Говорил — говорил, а что сказал — неизвестно. Вот как в наше время надо писать. А то влопаешься.

М а с т . р е д . Почему же влопаешься?

О п ы т н ы й с о т р . А потому что писать загадками выгоднее. Именно чтоб читатель восемь столбцов прочел и ни до одной идеи не добрался. Видит что смеется человек, а над чем — неизвестно. Поневоле и подумает: Эх сколько у них там идей-то запрятано, только высказаться-то бедняк не дают. Вот ведь современный-то фортель в чем!

М а с т . р е д . Ну нет, я хочу чтоб и идеи.

Д у б л ь в е . Именно идеи. Я всегда пропускаю идеи.

О . Н и л . Это я верю, что ты их пропускаешь. Эх, Маститый! Ну пусть укажут теперь, например: что либерально, а что нет?

М а с т . р е д . Г м . То есть как это? По-моему либерально так либерально, а не либерально, так не либерально — вот и все.

О п ы т н ы й с о т р . Не всегда так, Маститый.

Г о л о с а . Да, да, не всегда!

М а с т . р е д . Почему не всегда? Я не понимаю. Кажется я плачу достаточно чтоб у меня знали что либерально... А коль не знаете — так у других справьтесь, вот и все. Это глупо.

О . Н и л . А вот опять-таки вас ловлю! Скажите что значит: глупо? Кто в наше время знает что глупо и что умно?

М а с т . р е д . Как, и этого уж не знают? Ну — так так и объявить что нынче неизвестно, что глупо и что умно.

О д и н и з ю н ы х , н о н е о п ы т н ы х с о т р у д н и к о в . Да мы вот и объявили было что не знаем ничего про Россию, да тотчас и влопались¹.

М а с т . р е д . Г м . Так как же быть, господа? Надо что-нибудь предпринять, а то подписка упадет. Новенького этак чего-нибудь... (вывертывает рукой).

Д у б л ь в е . Новенького? Я вот просил переменить псевдоним, вы и на то не согласились! А вон я слышал, говорят, надо бы и название газеты переменить.

М а с т . р е д . Как переменить! Кто говорит?

Г о л о с а . Это еще зачем?

Д у б л ь в е . А затем что «звук могут издавать и ослы». Вот как говорят!

М а с т . р е д . Кто это говорит? И я даже не понимаю, как вы-то сами осмелились. Впрочем мне давно все равно, что бы там в этом смысле ни сказали. Напечатать все-таки не посмеют! Вздор!

Ю н ы й н о н е о п ы т н ы й с о т р у д н и к (с необычайным жаром набрасывается на Дубльве, который стоит с глумливой, но торжествующей улыбкою). Да-с, не посмеют-с! Теперь этого уж никак не посмеют написать-с! Было, было время, когда еще это можно было сказать, только это время давно прошло-с.

М а с т . р е д . Ну, довольно, юный! Вижу, что ты привержен, но — довольно...

Ю н ы й . Нет-с, как же это смеет сказать, что «Звук» могут издавать ослы!

М а с т . р е д . Сократи, сократи!

Д у б л ь в е (с величайшим торжеством). А как же? разве когда осел ревет он не издает звука?

Ю н ы й . А, вы в этом смысле? Так ведь «звук» нужно тут с маленькой буквы, а вы с большой.

Д у б л ь в е (продолжая торжествовать). А вольно ж вам с большой! Конечно, я в этом смысле, а то как же б я мог. А теперь оно безобидно. Нет, послушайте, господа, а ведь это похоже: разве не издает когда ревет? Разве не

¹ Имеется в виду фраза Нила Адмирари в фельетоне «Листок» («Голос», 1873, 2 сентября): «Да, мудрое правило «познай себя» нигде не может принести такой громадной пользы, как в России, где граждане так мало знают о собственных своих потребностях». Эта фраза вызвала иронический выпад «Гражданина» (10 сентября) в «Последней страничке»: «На 11-м году своей жизни, газета «Голос» объявляет вдруг что на одном все газеты и все журналы должны сойтись братски: на том что все они не имеют-де понятия о России». Мы склонны согласиться с В. В. Виноградовым, что цитируемый фельетон также принадлежит Достоевскому.

издает? Только тут с маленькой буквы, а там с большой. Это я сам, один выдумал, господа! (охорашивается).

Маст. ред. Ну вздор и пустяки! Издавать звук не значит еще «Звук» издавать. «Звук» издавать значит деньги брать. Осел даром ревет, а я за деньги; вот уж и разница!

Опытный сотр. Именно разница! Иные и теперь ревут даром, из принципа, без подписчиков. Вот это так уж настоящие ослы! Именно так, Маститый! Ай да Маститый!

Голос. Ай да Маститый!

Маст. ред. (очень польщенный). Что ж, господа, это бы можно в передовую.

Голоса. Можно, можно!

Опытный сотр. Только осторожно.

Маст. ред. И чего это, господа, за меня одного все указывают? Простить не могут! А я напротив могу указать что есть и теперь русские писатели, которые, несмотря уже на несомненное дарование, литературой дома себе жили! А коли так, так ведь нам-то уж и простительно. Одним словом я, господа, еще раз принужден заметить что у нас вовсе недостаточно остроумия. По крайней мере в виду подписки надо бы условиться хоть насчет направления. Я давно, господа, хотел вас спросить: какого мы направления? Ведь мы держимся русского направления, а?

Опытный сотр. Ну, на этот счет у нас шваховато.

Маст. ред. Ну так подживить коли шваховато!

Опытный сотр. Да что подживлять-то! Влезем в русское — славянофилами обзовут, тем подписка и кончится. А лучше бы как теперь, всего понемножку: и русское и французское, и монархия и республика...

Маст. ред. Ну да, чтоб и республику.

Опытный сотр. Т. е. как республику?

Маст. ред. То есть не вполне... а так только... идейку... чтоб показать что и у нас тоже. Слава Богу, газета большая, места хватит. А то скажут что у нас этого отдела недостает.

О. Нил. Ну, а насчет общества как же писать теперь: созрело оно или не созрело? Я вон фельетон приготавливаю, мне надо знать как у нас на будущий год решено.

Маст. ред. Ну, а как по прежнему?

Голоса. Созрело, созрело!

Маст. ред. Ну и писать что созрело. Как же не созрело коль у меня 10 000 подписчиков!

О. Нил. Эх, Маститый, да ведь это пожалуй не от того!

Маст. ред. Ну нет; как же не от того.

О. Нил. Созреют так ведь нам же первым плохо будет.

Маст. ред. Это еще почему?

О. Нил. Созреют — поумнеют. Поумнеют — перестанут подписываться.

Юный, но неопыт. сотр. Ах, так писать что не созрели! Непременно писать что не созрели!

Маст. ред. Постой, постой! Это вздор. Еще когда-то поумнеют, а теперь пусть подписываются. На наш век хватит. Писать по-старому!

Опытный сотр. Bravo, Маститый! Опять слышу голос умудренного опытом человека! По-прежнему-то лучше. Чего там «научки», да «подживить». Сказано: «не открывать Америку»; помните! Тем нам и счастье что мы — середка на половину. Значит всякому по плечу.

Маст. ред. Именно, именно, я про то и говорю. Хватило бы на наш век, а там — après moi le déluge! ¹

Сотр. Дубль-е. Это вы про потоп... А знаете, господа, что третьего дня было наводнение?

Маст. ред. (с холодным взглядом). Я не про то.

¹ После меня хоть потоп (франц.).

Сотр. Дубльве (торопится). Нет, в самом деле, господа, слышу ночью каждую минуту по пяти пушек¹

Голоса. Да не про то, не про то!

Сотр. Дубльве. Ах да, каждую пушку по пяти минут, ну, думаю наводнение!

Голоса. Да не про то, не про то!

О. Нил. Вот она четверговая-то соль!

Маст. ред. А только что же мы новенького-то, господа? Подписка не штука!

О. Нил. Наладили же вы, Маститый, вы лучше скажите насчет классических языков: по-прежнему?

Маст. ред. Классические языки! Лупить! по-прежнему лупить!²

Голоса. Лупить! По-прежнему лупить!

Дубльве. А «Гражданин»-то? Коли не об чем писать так я об «Гражданине»! Вот вам и новенькое. Это всегда новенькое! Никогда не состарится.

Маст. ред. «Гражданин» лупить!

Опытный сотр. Не скажу чтоб лупить «Гражданин» — было всегда новеньким. Вон, говорят, мы об нем на всю землю протрубили. Ему на 1000 р. на одних объявлениях выгоды сделали!³

Дубльве. Так ведь ругали? Ведь ругали, а не хвалили!

Опытный сотр. Так ведь есть же что нам и не поверят. Дай дескать посмотрю, что за «Гражданин» такой, что все два года не могут успокоиться. Возьмет да и выпишет.

Маст. ред. Черт возьми, надо чтоб не выписывали. Я особенно не люблю «Гражданин», господа. Уж не начать ли хвалить, а?

Голоса. Что вы, Маститый, что вы, рехнулись!

Маст. ред. Совсем нет, а вот увидят что мы хвалим, ну и перестанут подписываться... Впрочем, черт, я сбился. Господа, извините! Нет уж лучше по-прежнему: лупить!

Голоса. Лупить, лупить! пуще прежнего лупить!

Дубльве. Ну, я было испугался! Вы только подумайте что же со мной-то станется, коли «Гражданин» не лупить? Без «Гражданина» я как муха пропал! Об чем мне тогда писать?

Маст. ред. Итак, господа, я вижу, что все по-старому, несмотря на близость подписки? Гм. А ведь я и сам так думал! Что же, господа, нынче благородством-то не возьмешь! Нынче вон неизвестно что глупо, а что умно, что либерально, что нет... Сунься-ка в славянофилы — русским назовут. Скажите, где теперь идеи? Укажите хоть одну! Гм. А только все-таки я б советовавал подживить. Этак новый отделечик какой-нибудь, али там Базена пустить⁴. Подпустить бы этак, подпустить! (вертит рукою).

Голоса. Да уж подпустим, Маститый! Не в первый раз; останетесь довольны, не выдадим!

Опытный сотр. То-то вот и есть. Без Америки-то лучше. Проползем и так.

Маст. ред. Проползем-то, проползем. Гм. (про себя) А только все-таки надо бы остроумия...

¹ Пародия на следующий эпизод из «Листка» Нила Адмирари («Голос», 1873, 7 октября): «Около полуночи выстрелы (пушки, извещавшей о прибытии воды в Неве.— В. В.) сделались громче и чаще...».

² Реформа среднего образования 1871 г. вытеснила «реальное» образование «классическим». В русской печати велась по этому поводу оживленная полемика. Достоевский в основном поддержал реформу. либеральная пресса, в том числе «Голос», выступила против.

³ Т. е. избавили от частных рекламных — платных! — объявлений о подписке на «Гражданин», печатавшихся в том же «Голосе».

⁴ С 24 сентября по 28 ноября 1873 г. (ст. ст.) во Франции заседал военный суд над маршалом Базеном, сдавшим без должного сопротивления крепость Мец и вверенную ему армию. Был приговорен к смертной казни, но затем помилован президентом. «Голос» печатал регулярные отчеты о судебных заседаниях.

Аргументация в пользу авторства Ф. М. Достоевского

1. «Сцена» написана в форме пародийного диалога известных журналистов, которую Достоевский хорошо освоил еще в 60-е годы. В том числе — разговор в «редакционной кухне» «Г-н Щедрин или раскол в нигилистах» (1864), где писатель пустил в ход пародийную идиому: «Можно... не говорить: «Лайте!», а можно сказать: «Издавайте звуки». Далее в той же статье 1864 г. идиома «издавать звуки» повторяется в разных сочетаниях 14 раз (1). Очевидно, очень уж понравилась автору.

Через четыре месяца в том же 1864 г. в фельетоне «Каламбуры в жизни и в литературе» Достоевский изобретает новый каламбур, теперь уже по поводу Краевского, издателя новой газеты «Голос»: он издает голос и издает «Голос». «Одним словом, он издает два голоса в ущерб русской литературе».

Нетрудно заметить, что в интересующей нас «сцене» 1873 г. каламбур, изобретенный Достоевским в 1864 г., вновь направлен против Краевского, «маститого редактора» газеты «Звук»: «Звук могут издавать и ослы». Более того, один из сотрудников тонко намекает на это обстоятельство: «Теперь уж этого никак не могут написать-с. Было, было время, когда еще это можно было сказать, только это время давно прошло-с».

2. В «сцене» со знанием дела высмеяны повадки «маститого редактора» А. А. Краевского. В редакции «Гражданина» только двое — Достоевский и А. У. Порецкий были когда-то, по «Отечественным запискам» сороковых годов, посвящены в его издательскую кухню.

В «сцене» «маститый редактор» изрекает: «Нумера прискучили... Надобно подживить. Ну там известица... Науки... Какой-нибудь там отдельчик... Повестьца...»

В записной тетради Достоевского 1876—1877 гг. находим: «У нас не науки, а до сих пор все еще «научки», как говаривал в старину один редактор, издатель ежесемесного журнала...: «Ну вот повестьца, ну там критичка, ну «научки» тоже — вот и номерок составилса — хе-хе-хе...» В академическом издании Достоевского (т. 24, с. 479) эта запись неверно толкуется как выпад против Некрасова. Имеется в виду именно Краевский (доказательства читатель найдет в нашей статье, готовящейся к изданию в составе десятого сборника «Достоевский. Материалы и исследования»).

Любопытно, что слово «научки» Достоевский обыгрывает и в своей статье «Одна из современных фальшей», напечатанной в «Гражданине» через полтора месяца после «сцены в редакции».

3. Издание «Бесов» и редакторство в «Гражданине» ознаменовались обрушившимся на Достоевского градом насмешек и даже издевательства со стороны мелко-либеральной прессы. Поусердствовал и «Голос» Краевского, особенно в лице двух ведущих сотрудников: Нила Адмирари (псевдоним Л. К. Панютина) и W. (возможно, М. Г. Вильде). Последний в «сцене» назван Дубльве, а первый — о. Нилом, что каламбурно сблизало развязно-либерального журналиста со скандально прославившимся беспутным попом Нилом, о котором Достоевский недавно написал едкий фельетон «История о. Нила» («Гражданин», 11 июня 1873 г.).

Весною или в начале лета 1873 г. Достоевский наметил в записной книжке: «Статья: Газета Голос», готовиться все лето (перед подпиской)». Статьи с таким названием Достоевский не написал, но сатирическая «сцена в редакции» выполняла намеченную им задачу, выйдя именно «перед подпиской». В записной тетради Достоевского 1873 г. мы находим подготовительные наброски, дословно совпадающие с некоторыми местами «сцены в редакции», что, на наш взгляд, является абсолютным доказательством при атрибуции.

В записной книжке Достоевского: «Есть и теперь русские писатели, которые, несмотря на несомненное дарование их, построили себе литературой дома»¹.

В «сцене»: «...есть и теперь русские писатели, которые, несмотря уже на несомненное дарование, литературой дома себе нажили!»

В кого целит этот эпизод, раскрывает упоминание в статье Достоевского «Молодое перо» (1863): «таланты здесь изображены под видом домов, что употребляется в литературе (см. дом Краевского на Литейной и дом Старчевского на Мойке)». Позднее к ним прибавился дом Г. Е. Благовосветлова, также известного редактора и издателя.

В записной книжке: «Идеи у вас нет».

«В «сцене»: «Вот тоже у нас нет идей. У всех идей, у нас нет идей». (Тема эта использована Достоевским раньше в статье «Полписьма «одного лица»».

В «сцене» получили отражение некоторые традиционные мотивы Достоевского-сатирика. Так, в той же записной книжке: «Кто же не знает, что ты ругаешь газету-соперницу, потому что боишься, не отобьют ли твоих подписчиков».

¹ Приводим эту запись из «Тетради № 8» (ЦГАЛИ, ф. 212, л. 11, л. 5) в более точном прочтении, чем это сделано в академическом собрании сочинений Достоевского (т. 21, с. 257).

Или вот слова «опытного сотрудника», что «писать загадками выгоднее», потому что читатель «поневоле подумает: Эх, сколько у них там идеичто запрятано, только высказаться-то бедняк не дают». Ср. заметку Достоевского к статье с нравах современной журналистики: «Полная свобода прессы необходима, иначе до сих пор дается право дрянным людишкам (умишкам) не высказываться и оставлять слово с намеком: дескать, пострадаем... Предполагается добрым читателем, что вот в том-то, что они не высказали, и заключаются перлы».

Можно привести иные, более мелкие совпадения (напр., огласовка слова «пселдоним», намекающая на героя «Скверного анекдота» Пселдонимова), но и приведенных достаточно для уверенного атрибутирования «сцены в редакции».

Одно замечание вне текстологии. Недавно предпринята попытка полной «реабилитации» А. А. Краевского (статья М. Юрьевой «Судьбою несть даны нам тяжкие вериги...» в «Советской культуре» 5 сентября 1989 г.). Кажется, на смену одному мифу приходит другой, сильно подслащенный. А неплохо бы вслушаться в суждения современников, хотя бы наиболее авторитетных. Достоевский в своем отношении к Краевскому был неровен, изменяв, сказывалась и политическая конъюнктура. Но Достоевский-то мог подняться над конъюнктурой! В «Петербургских сновидениях...» (1861) он признал Краевского «лидом весьма полезным русской литературе»; «...он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия...». Однако, чем дальше, тем больше коммерческая деловитость Краевского приобретала в глазах Достоевского (и не его одного) характер деличества. Люди типа Краевского вызывали у него недоверие к мотивам их общественной позиции. Все в той же записной книжке 1873 г.: «Человек весьма часто принадлежит известному роду убеждений вовсе не потому, что разделяет их, а потому что принадлежать к ним красиво, дает мундир, положение в свете, зачастую даже доходы».

Публикация, вступительная статья и комментарии В. ВИКТОРОВИЧА

Алексей Эйсснер

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Автор предлагаемых читателю воспоминаний — художник Алексей Петрович Эйсснер (1871—1942), внук известного петербургского архитектора, создателя Мариинского дворца и других замечательных зданий в Петербурге, профессора Академии художеств Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Его обширный гостеприимный дом на Миллионной в конце 1850-х и начале 1860-х гг. был знаменит своими литературно-музыкальными вечерами, на которых собирались видные представители литературы и искусства, общественные деятели. Хозяйкой салона была его жена Мария Федоровна, но центром, душой этого сообщества, по свидетельству современников, была старшая дочь Штакеншнейдеров Елена Андреевна, отличавшаяся недюжинным умом, наблюдательностью, доброжелательным интересом к людям, умением расположить собеседников к откровенности, блестяще образованная. Имя ее тесно связано с историей русской литературы и общественной жизни. К Достоевскому она относилась с особым вниманием и чуткостью. Он был для нее не только великим писателем, но и учителем жизни.

Достоевский стал бывать в доме Штакеншнейдеров еще на Миллионной в начале 1860-х гг., вскоре по возвращении из Сибири. После отъезда Штакеншнейдеров на мызу Ивановка, близ Гатчины, встречи стали редкими и возобновились уже в 1873 г. Особенно часто Достоевский стал бывать у Штакеншнейдеров в 1879—1880 гг., стараясь не пропускать их приемные дни, часто заходил просто «на огонек». Дружба со Штакеншнейдерами — одна из светлых страниц в жизни Достоевского. В записных тетрадях писателя упоминаются все адреса, по которым жили в те годы овдовевшая Мария Федоровна, Елена Андреевна и семья ее сестры Ольги Андреевны, в замужестве Эйсснер (ее сыном и был автор публикуемых воспоминаний). В ту пору, когда он впервые увидел Достоевского, Алеше Эйсснеру было около восьми лет. «Мама и сестры кланяются Вам, а Алеша и Вера (сестра Алеша. — Г. К.) — детям Вашим» — писала в те годы Достоевскому Е. А. Штакеншнейдер.

Посещения Достоевским дома Штакеншнейдеров в последние годы его жизни описаны А. Г. Достоевской, женой писателя, в ее «Воспоминаниях», в книге

Е. А. Штакеншнейдер «Дневник и записки» (М.-Л., 1934) и В. Микулич «Встреча со знаменитостью» (М., 1903). Воспоминания А. П. Эйснера — новые, неизвестные страницы о последнем периоде жизни Достоевского. Такие живые, основанные на непосредственном детском восприятии воспоминания в мемуаристике, посвященной Достоевскому, вообще очень редки. И хотя написаны они много лет спустя и отмечены весьма сильным субъективизмом взгляда, но открывают такие подробности и детали, которые ускользали от внимания взрослых.

Дети всегда интересовали Достоевского. «Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю и сам их имею...» — писал он в 1878 г.

Алеша Эйснер с нетерпением ожидал прихода Достоевского.

«Отчего вы с детками не приехали? — спрашивала Елена Андреевна Анну Григорьевну Достоевскую. — Алеша при каждом звонке все бегает в переднюю и кричит: «Достоевские!». Каждый раз еще — не приехал ли Федор Михайлович?» (Е. А. Штакеншнейдер — А. Г. Достоевской, «Лит. насл.», т. 86, с. 436). «Пришел, пришел, пришел!» — восклицал «маленький Алеша», пробегая по всем комнатам и сообщая о приходе Достоевского В. Микулич (В. Микулич. Указ. соч., с. 9).

По свидетельству А. Г. Достоевской, у Достоевского было «какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы...»

В этой связи примечателен рассказ А. П. Эйснера о первой встрече с Достоевским, когда великий писатель вместе с восьмилетним мальчиком с живейшим интересом разглядывает книги, которые так много значили для него самого в детстве, те самые, которые он советовал родителям и педагогам непременно давать детям для их духовного развития, вспоминая, «сколько высоких и прекрасных впечатлений» захватил он в жизнь из этого чтения.

Весьма знаменателен не ускользнувший от мальчика пристальный интерес Достоевского к образу Христа, созданному художником Ф. Бруни.

Известно, с каким вниманием и глубоким волнением всматривался Достоевский в изображение Христа кисти итальянских живописцев Тициана («Христос с монетой») и Каррачи (голова молодого Христа), немецкого художника Ганса Гольбейна («Мертвый Христос»). В наблюдениях мальчика — важное свидетельство об интересе автора «Братьев Карамазовых» к изображению Христа в русской живописи. Ф. А. Бруни занимался в те годы сочинением и рисованием картонов для образов Христа в Исакиевском соборе и храме Христа Спасителя в Москве, сотрудничая в этой работе с А. И. Штакеншнейдером.

Весьма любопытен рассказ о любительском спектакле «Каменный гость», состоявшемся на Знаменской в одну из суббот зимой 1880 г. О нем вспоминают и А. Г. Достоевская, и Е. А. Штакеншнейдер, и наиболее полно его описавшая В. Микулич. Но в воспоминаниях мальчика сохранились такие детали, которые взрослыми оказались не замечены: Достоевский был одним из инициаторов спектакля, участвовал в распределении ролей и даже сам был в числе исполнителей, а не сидел на спектакле «в последних рядах с Еленой Андреевной», как пишет В. Микулич. В жизни Достоевского это был второй спектакль, в котором он участвовал. В знаменитом писательском спектакле «Ревизор», устроенном Литературным фондом 14 апреля 1860 г., он выбрал для себя роль почтмейстера Шпекина. В «Каменном госте» — первого гостя Лауры, произносящего столь близкие самому Достоевскому пушкинские строки:

...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь — мелодия...

(Сцена II. Комната. Ужин у Лауры).

Роль Лауры исполняла «очень красивая молодая женщина... приятельница Елены Андреевны, Мария Николаевна Бушен, очень одаренная личность. Она прелестно рисует, пишет, декламирует, играет на сцене, при этом хороша как ангел и несчастлива в семейной жизни» (В. Микулич. Указ. соч., с. 14). «Помню, в какой восторг привела его (Достоевского. — Г. К.) тогда на представлении «Каменного гостя» Маша Бушен своим костюмом Лауры, который, сказать по правде, приличием тоже не отличался, потому что был слишком короток. Я даже тогда чуть не вскрикнула, увидав на сцене ее толстые ноги и толстые же обнаженные руки, а он ничего не заметил и только восхищался», — возмущалась Е. А. Штакеншнейдер. По ее мнению, «глубочайший мыслитель и гениальный писатель» «не был тонок» по части дамских костюмов и женской красоты, хотя и «знает все изгибы души человеческой, предвидит судьбы мира».

В кругу Штакеншнейдеров долго помнили о пушкинском спектакле. В переписке Достоевского с Еленой Андреевной Аверкиева (жена писателя Д. В. Аверкиева) и Бушен стали упоминаться как Донна Анна и Лаура — так называли их после спектакля. Был задуман новый спектакль — «Отелло» и Федор Михайлович на сей раз мечтал сыграть в нем уже главную роль. «Я сам буду Отелло», — говорил он. Бушен готовилась к роли Дездемоны (см. В. Микулич. Указ. соч., с. 14, 21). Этим планам не суждено было осуществиться.

В воспоминаниях вновь возникает легенда о телесном наказании, которому Достоевский якобы был подвергнут в остроге. Анна Григорьевна, по свидетельству родственников, «этого не знала» («Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1974, вып. 1. с. 303). Л. Достоевская, дочь писателя, называла эту легенду «нелепой» (Л. П. Гроссман. «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского». М., 1935, с. 331). Недавно на основе документальных сведений, сохранившихся в архивах, показано, что нависшая над Достоевским и его товарищем — петрашевцем С. Дуровым угроза телесной расправы (о чем он писал брату М. М. Достоевскому 30 января — 22 февраля 1854 г. из Омска) была предотвращена комендантом крепости де Граве и одним из солдат охраны (М. М. Громыко. «Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского». Новосибирск, 1985, с. 40).

По вторникам в салоне Штакеншнейдеров происходили литературные чтения. Достоевский, всегда охотно откликавшийся на приглашения выступать с чтением отрывков из своих произведений в известных залах в пользу Литературного фонда, студентов С.-Петербургского университета, Бестужевских курсов, женских гимназий, просил осенью 1880 г. не беспокоить его — до 20 ноября: он заканчивал «Братьев Карамазовых», писал эпилог романа. 26 ноября, во вторник, он прочел только что законченные страницы в салоне Штакеншнейдеров. «Вчера у нас Федор Михайлович читал главу из эпилога, княгиня Дондукова пела», — рассказывает Елена Андреевна Н. Н. Страхову 27 ноября 1880 г. Это было единственное свидетельство о чтении Достоевским эпилога романа. В воспоминаниях А. П. Эйсснера содержится подробное, живое описание этого чтения, на котором присутствовали известные представители петербургской интеллигенции.

Неизвестным было до сих пор и посещение Достоевским концерта знаменитого артиста московских театров, непревзойденного чтеца Гоголя В. Н. Андреева-Бурлака. Очевидно, дело было в 1879 г., когда артист приезжал с гастрольями в Петербург, и Достоевский, несомненно слышавший о мастерском чтении им «Записок сумасшедшего», не пропустил этого вечера в известном в Петербурге музыкально-театральном зале.

Смешна на первый взгляд, но многозначительна в свете известных нам ключевых образов философской проблематики произведений Достоевского жанровая сценка в гостиной Штакеншнейдеров, с ползущим по стене клопом. Этот «думающий клоп» сразу же вызывает в памяти и пауков из закоптелой баньки, какой представляется Свидригайлову преисподняя, и ту муху, жужжание которой в кошмарном сне Раскольниковва столь ужасно оттеняет замогильную тишину происходящего и напоминает ему потом о единственном свидетеле преступления: «Муха летала, она видела», и омерзительного тарантула из кошмара Ипполита (в романе «Идиот»), и слова Кириллова из «Бесов»: «Я всему молось. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что он ползет».

Наконец, в воспоминаниях А. П. Эйсснера обнаруживаются новые данные о творческих исканиях Достоевского. Давно исследователей занимает вопрос о содержании задуманного великим писателем и оставшегося неосуществленным второго тома «Братьев Карамазовых», о том, какова должна была быть судьба главного героя Алеши Карамазова, как должен он был выйти на «правую дорогу»?

Существует несколько разных версий, основанных на свидетельствах современников Достоевского. Одна из них — рассказ А. С. Суворина, который, вспоминая о встрече с Достоевским, утверждал, что писатель «хотел провести его (Алешу. — Г. К.) через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили...» («Дневник А. С. Суворина». М. — Пг., 1923, с. 16). Из воспоминаний А. П. Эйсснера видно, что Е. А. Штакеншнейдер, с которой Достоевский любил беседовать и делиться своими планами, также было известно его намерение писать об Алеше как о политическом преступнике, и она рекомендует искать материал для этого в среде прежних политических преступников — декабристов, «ссыльных старого времени», принявших ранее столь доброе участие в судьбе ссыльного нового времени — Достоевского. С некоторыми из них семья Штакеншнейдеров была связана родственными узами. И Достоевский увлекся этим сюжетом. Обращение к истории декабризма — новый, неизвестный прежде факт творческой биографии автора «Братьев Карамазовых».

Какова же история предлагаемой читателю рукописи и почему она до сих пор не была опубликована?

История моего многолетнего поиска именно этой рукописи началась в 1958 году в Омске, когда во время первой своей поездки по местам Достоевского я неожиданно увидела в местном краеведческом музее круглый диван и стол из знаменитого петербургского салона Штакеншнейдеров. Как он мог тут оказаться? Известный ученый-краевед Андрей Федорович Палашенков рассказал мне, что вещи эти поступили в музей в 1956 году от племянницы Е. А. Штакеншнейдер Маргариты Васильевны Долининой-Иванской вместе с фотографиями — портретом Елены Андреевны и изображением того уголка гостиной, где эти вещи стояли. К сожалению, встретиться тогда с Маргаритой Васильевной не уда-

лось. А несколько лет спустя я увидела такие же фотографии в изобразительных фондах Государственного Литературного музея. Они не значились ни в коллекции А. Г. Достоевской, ни в коллекции материалов, собранных московским музеем Ф. М. Достоевского (открыт в 1923 г. и стал филиалом Гослитмузея в 1940 г.). В старой книге поступлений, начатой Гослитмузеем в октябре 1934 года, записано, что эти фотографии поступили вместе с исполненным сангиной и тушью портретом Достоевского в 1934 году от А. П. Эйсснера. Сбоку помета: «автор воспоминаний».

Какие воспоминания, о ком, где рукопись... И кто такой Эйсснер, имеющий, судя по фотографиям, отношение к Штакеншнейдерам?

1934 год — год основания Государственного литературного музея. Его директор В. Д. Бонч-Бруевич развернул собирательскую и публикаторскую, издательскую деятельность. Мне неоднократно приходилось слышать и от старейших сотрудников музея, и от самого Бонч-Бруевича (я начала работать в музее с 1946 г.) о той огромной переписке, которую он вел с потомками писателей, художников и исторических деятелей, обращаясь к ним с призывами передавать в государственные хранилища свои семейные и родовые архивы, чтобы сберечь их от гибели. Конечно, не мог он в этой связи не обратиться и к Штакеншнейдерам. «Я привик всю мою жизнь к Штакеншнейдерам относиться с самым глубоким уважением», — писал он племяннице Елены Андреевны Софье Владимировне Штакеншнейдер, чрезвычайно радуясь ее решению передать свой архив музею (ГБЛ, ф. 369, оп. 1, карт. 225, ед. хр. 43, л. 1). История архивов Штакеншнейдеров — особая и очень интересная тема, но здесь для нее нет, к сожалению, места. Скажу лишь, что о существовании воспоминаний А. П. Эйсснера в семье Штакеншнейдеров не знали.

Я решила заняться изучением всей переписки В. Д. Бонч-Бруевича, а также протоколов заседаний фондовой комиссии, принимавшей коллекцию (ЦГАЛИ, ф. 612 Гослитмузей; ГБЛ, ф. 369 В. Д. Бонч-Бруевич). И вот среди корреспондентов Владимира Дмитриевича оказался и ленинградский профессор, художник А. П. Эйсснер! 29 декабря 1932 г. он, очевидно, в ответ на обращение к нему Бонч-Бруевича писал о задуманной им большой работе, листов до пятидесяти: «Мои воспоминания являются как бы семейной хроникой моих близких: Штакеншнейдер, Эйсснер, Малиновских и Вольховских — товарищей по лицу А. С. Пушкина и др. ...»; «Из писателей мне достаточно придется остановиться на Ф. М. Достоевском как друге моей тетки Елены Андреевны и дядюшки Адриана А. Штакеншнейдер и как отце Лили и Феде, моих сверстников...» (ГБЛ, ф. 369, картон 369, ед. хр. 9, л. 1 — об.). 9 июля 1933 г. он сообщал Бонч-Бруевичу, что статья «Из моих воспоминаний о Достоевском» окончена (писал ее полтора месяца) и 23 августа она вместе с иллюстрациями была выслана в Москву (там же, лл. 3, 5).

«Рукопись Вашу прочел. Полагаю, что она будет напечатана в 5-ой книжке «Звеньев», где мы помещаем большой материал о Достоевском. Окончательное решение будет тогда, когда наша коллегия просмотрит весь сборник № 5 и утвердит к печати...» — отвечал В. Д. Бонч-Бруевич 26 ноября 1933 г. (ЦГАЛИ, ф. 612, оп. 1, ед. хр. 2523; ПБЛ, ф. 369, картон 226, ед. хр. 21, л. 4; ГЛМ, ф. 327, оп. 1, ед. хр. 170, л. 37).

Однако 5-ая книжка «Звеньев» — сборника материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, издававшегося под редакцией Бонч-Бруевича, — вышла в 1935 г. без материалов о Достоевском. Воспоминаний А. П. Эйсснера не оказалось и в 6-ой книжке «Звеньев», вышедшей в 1936 г., и в последующих номерах.

Рукопись Эйсснера следовало искать в портфеле редакции «Звеньев». Но в 1949 г. издательство Гослитмузея было закрыто, и архив его, по мнению исследователей, исчез — во всяком случае, судьба его оказалась весьма загадочной... Однако часть этого архива еще при жизни Бонч-Бруевича была передана в Гослитмузей из Центрального Государственного архива литературы (ныне ЦГАЛИ). Коробки эти берегли, но они стояли неразобранными, недоступными для исследователей. Оказалось, что это — небольшая часть редакционного портфеля «Звеньев»; рукопись Эйсснера сохранилась в ее составе в № 170. Она состоит из 36 машинописных страниц. Ныне хранится в Рукописном отделе Государственного Литературного музея.

А как сложилась судьба автора «Воспоминаний»?

Художник А. П. Эйсснер закончил Академию художеств и Археологический институт, был участником Всероссийского съезда художников в С.-Петербурге (дек. 1911 — янв. 1912 г.), будучи секретарем отдела съезда «Живопись и ея техника» (почетным председателем которого был И. Е. Респин), выступал с докладами («О грузинской древней росписи», «Памятники Закавказья», «Древние одежды по церковным династическим фрескам», «Памятники старины Юго-Западного Закавказья») и с предложением об основании в столице «Дома художников», где бы художники могли работать и жить (см. «Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде», 1912, тт. 1, 2, 3). В 1929 г. в ленинградском издательстве «Наука и школа» вышла его книга «Школа рисования и живописи»,

посвященная им памяти матери — О. А. Эйснер. По свидетельству его внучатой племянницы Наталии Борисовны Мешковой-Малиновской, деятельностью по воспитанию юных художников А. П. Эйснер занимался до конца своей жизни. Умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Рукопись публикуется с небольшими сокращениями. Орфография и пунктуация автора в основном сохранены.

В конце 70-х годов прошлого столетия моя мать, сестра, я, бабушка Мария Федоровна и тетка Елена Андреевна Штакеншнейдер, с которыми мы жили вместе с тех пор, как я себя помню, собирались переезжать на новую квартиру.

Был Великий пост. Мать моя впервые повела меня к исповеди в церковь Козьмы и Дамиана, что на Кирочной улице, почти рядом с тем домом, где мы жили. Она выходила на Фурштадтскую улицу. Говорили, что церковь передана из военного манежа.

Как сейчас вспоминаю свои первые впечатления того знаменательного для меня дня. Погода была серая, слякотная — пронизывающая. Я весь был полон тайных, неиспытанных еще ощущений «грешника», идущего на покаяние. С легкой дрожью и робостью я поднялся на паперть, где нас с матерью тесной толпой обступили нищие, бродяги и разные странники из «святых мест». Охваченный волнением предстоящего испытания, только я хотел переступить порог притвора, как передо мной выросла фигура с заскорузлой протянутой рукой, держа в другой крепко сжатый сучковатый посох. Голова этой фигуры лысая, мертвенно-бледная, бесцветные маленькие глаза, как стеклянные, смотрели на меня исподлобья в упор тупо и вопросительно; она шептала что-то, глухо и невнятно, и едва, едва улыбалась, а стеклянные глаза так и впились в меня. Я с остросткой оглянулся на мать, которая в это время подавала монету. Мы вошли в церковь. Царил таинственный полумрак, мерцали свечи. Слышался шопот, кашель, вздохи и временами звон разменной монеты. Пахло выдохшимся ладаном и сырой одеждой. В стороне, в темном углу, стояла ширма. Несколько человек толпились возле нее. Мы с матерью также подошли и стали в очередь. Я впереди. Тихонько сняв пальто, безучастно озираюсь кругом. Мысль моя бродила, а в глазах мерещился странник у притвора, мерещился и пугал..

Мать мне шепнула: «Иди — твоя очередь». Я беспомощно вступил за ширму... У аналая, вытянувшись и нагнувшись, на меня смотрела, кивала и шептала, лысая, суровая, болезненно-изнеможенная голова. С боков ее гладко лежали волосы. Огромный лоб нависал над мелкими серыми задумчивыми и пронизательными глазами, которые слегка прикрывали сдвинутые над ними брови. Редкие опущенные усы под прямым мясистым носом и редкая, от больших ушей растущая седая борода лопатой, из-под которой сначала едва заметной — темной, а затем широкой поблескивающей лентой повисла передо мной епитрахиль. Перед иконой зажженная лампада и свечи, сверху мягким теплым полусветом разливаясь по голове, задевали епитрахиль и все это, как гигантский восклицательный знак, заканчивалось и отражалось в лежащем под нею серебряном блюде с грудой монет и свечей!.. Все остальное тонуло в сумраке и в моем измученном воображении. Испытывая неимоверную подавленность и щемящую тоску, я зарыдал!.. Все у меня смешалось в мозгу. Очнулся я только тогда, когда прикоснулся губами к холодному кресту и Евангелию. Я вышел... Очередь была моей матери. Примостившись у наших снятых пальто, я забылся и задремал, и мне мерещились все время эти обе головы, которые я впервые заметил и так близко, близко видел, почти касаясь их.

Персехав с Фурштадтской ул., из дома Кононова, в дом Дылева на угол Знаменской (ныне пл. Восстания) и Озерного переуллка, мы наняли большую квартиру в 3-м этаже с 3-мя балконами, один из которых выходил на Знаменскую, 2 других на Озерный переуллок, как раз на большой деревянный дом с мезонином, таинственный, вечно тихий, как вымерший, дом с большим тенистым фруктовым садом, принадлежавший скопцам Дурдиным (ныне в нем Детдом). Рядом с нами по той же парадной лестнице занимал небольшую квартиру присяжный поверенный Александров, вскоре высланный из Петербурга

административным порядком за защиту Веры Засулич. Он спешно распродал свои вещи. У него бабушка купила мне письменный столик с решеткой и при нем проведенный на кухню телефон — тогда совершенно необычайную, небывалую «новинку».

Я уже учился и очень интересовался книгами, но не детскими. <...> Любил я очень хорошо изданные книги с художественными рисунками. Я не расставался с историей Фридриха Великого в русском переводе с иллюстрациями Адольфа Менцеля, часами любясь ими, «Die Glocke» Шиллера в оригинале, с рисунками Каульбаха, восхищался Диккенсом на английском языке («Пиквикский клуб» с рисунками Сеймура и Фиша) и «Ундиной» Жуковского со стильными рисунками au trait, но без подписи, предполагаю гр. Ф. Толстого. Все это аккуратно размещалось на моем письменном «столике с телефоном», который поставили в нашей обширной столовой, скорее напоминавшей старинный кабинет усадьбы: с диванами, креслами, стульями и столиками, с большим концертным роялем фабрики «Вирт», над которым висела в большой золотой раме голова Христа, кисти Бруни — товарища по Академии моего деда. Это был эскиз, написанный в стиле древних мастеров, в темных тонах, и совершенно не походил на все работы этого художника.

Голова — «полный фасс», почти во все полотно, сливаясь с фоном и только часть лица слегка освещена. Большие бархатистые глаза задумчиво смотрели на зрителя, куда бы он ни пошел. У самого низа рамы шею охватывал синий хитон с красной полоской посередине, скрепленный пряжкой с «Альфой и Омегой», а от нее во все стороны расходились струйки едва заметных отблесков. <...> По стенам большие старинные гравюры в рамах, на постаментах мраморный бюст деда и бронзовая статуя тети Зины, умершей 3-х лет, работы Румянцева. И только большой обеденный стол, покрытый тяжелой скатертью, пожалуй, напоминал, что тут завтракают, обедают, ужинают и пьют чай. Огромный, в два этажа, с башенными часами и витыми колоннами, закрытый темный буфет, тогда уже исполненный полвека назад по рисунку деда, напоминал скорее средневековый орган и придавал всему внушительный покой. Комната эта соединялась с гостиной темно-красным проходным «фиммуар»-ом, с аркой и белым мраморным камином, в котором зимой постоянно тлел и вспыхивал «коко», где стояли уютные диванчики и стулья. В столовую обыкновенно стремились друзья нашего дома и вообще «люди свои».

В эти годы велась война с турками, и здесь мы вместе с гостями щипали «корпию» из мытых полотняных обрезков от старого белья. Сестра и я также принимали в этом деятельное участие, и нам доставляло это очень большое удовольствие. Не было дома, где бы в часы досуга не занимались этим, и Петербург в изобилии отправлял в «Красный крест» корпию для ран.

Вот в этой-то самой комнате и произошло мое тесное знакомство с Достоевским. Тогда у нас бывали «журфиксы» два раза в неделю по вторникам и пятницам — по пятницам в память былых знаменитых «пятниц» Академии художеств, коей мой дед Штакеншнейдер был питомцем, а затем профессором и академиком.

Собиралось у нас самое разнообразное общество: литераторы, поэты, общественные деятели, философы, музыканты, певцы, актеры, художники, сановники и революционеры (нигилисты, как их тогда называли). Большинство из них друзья дома. Из последних Михаил Павлович Покровский, в студенческие годы пылкий вожак революционного студенчества, Шелгунов, Михаэлис, Д. В. Стасов, передовые женщины Н. В. Стасова, Е. Х. Маляревская, рожденная Колодеева, женщина-врач О. А. Мордвинова, Н. И. Утина (рожденная Корсини), А. П. Философова (рожденная Дягилева), Черкесова (рожденная Трубникова), Н. К. Шульц (женщина-врач, родоначальница русской бактериологии). А. Н. Энгельхард (сестра жены Салтыкова-Щедрина), художники Айвазовский, Горавский, Гох, бар. М. П. Клодт, актеры Горбунов, Писарев, Стрелетова... певицы: кн. Дондукова-Корсакова, Занетти, Лядова... музыканты: Мусоргский, Сафонов, Синягина-Лилиенфельдт, философы: Владимир Соловьев, Н. Н. Страхов, литераторы: Федор и Иван братья Берг, Загуляев, В. В. Стасов и другие, поэты:

А. Н. Майков, Я. П. Полонский, К. К. Случевский, писатели: Гаршин, Гончаров, Ф. М. Достоевский, Писемский и прочие.

Достоевский для меня был не близкий, какой-то «не городской» «пришлец», ранее невиданный, своеобразный — чужой! И я невольно болезненно по-бавался его и прежде, и теперь я недоумевал — кого же он мне напоминает!?

Тут у нас на «журфиксах» и пели, и играли и сюда-то забирались все те, которые хотели под музыку, в уюте провести вечерок; где и мне разрешалось в это время присутствовать за моим неизменным «столиком с телефоном». Более редкие гости сидели чаще в зале или в комнате у тетки Елены Андреевны.

Как-то раз, забравшись к нам спозаранку, здесь появился Достоевский.

Я заглянул и вздрогнул, увидев Достоевского. Я оторопел! Я вспомнил исповедь и «головы»... Ф. М. постоял у рояля и пристально посмотрел на огромного Христа Бруни, затем, крадучись, подошел ко мне, поздоровался и, обняв меня, принялся перелистывать со мной историю Фридриха Великого. Примостившись рядом, он внимательно просматривал рисунки и, увлекшись, погрузился в чтение, а я украдкой близко-близко поглядывал тогда на его бледное землистое лицо с большим бугроватым лбом, и мне становилось как-то не по себе. Я как знакомого давно видал Ф. М., всегда помнил его вообще как частого гостя, но с этого раза для меня он начал становиться «Достоевским», и вот что дало толчок к этому. В выборе поименованных книг мы с ним сошлись! Он сам мне тогда же заявил об этом: «Лешечка, а ведь вкусы у нас с тобой одинакие!» Он как-то особенно в это время, судорожно, сжал мне плечо. «Вот как сошлись», говорил он, вставая и потирая руки, наклонился ко мне, улыбнулся, и, немного сторбившись, отошел к окружившим его гостям. И сочувствующие и несочувствующие ему все старались быть поближе к нему — послушать, что скажет Достоевский.

Вечера эти описаны в талантливом рассказе В. Микулич (псевдоним; рожденная Веселитская, по замужеству Чернавина) «Встреча со знаменитостью» (сборник «Дуся»). Рассказ этот, должно быть, написан по прошествии многих лет, и поэтому спектакль «Каменный гость» и его постановка не совсем точны. Много, вероятно, изгладилось из памяти Лидии Ивановны, а для меня, как для маленького мальчика, все было тогда весьма интересно, а теперь для многих и существенно. Вот почему я и позволяю себе подробно описать былое, врезавшееся тогда в мою память и оставшееся в ней до сих пор.

Среди приятельниц моей матери и тети особенно обращала на себя всеобщее внимание только что тогда вернувшаяся из Парижа Мария Николаевна Бушен (рожденная Новосельская), блиставшая своим обаянием, красотой, талантливостью и образованностью. Особенно ею увлекся Ф. М. Достоевский. Для нее на одном из наших вечеров он прочел «Скупого рыцаря», после чего Мария Николаевна как-то в беседе с Федором Михайловичем о его удивительном чтении предложила устроить у нас спектакль, выбрав «Каменного гостя».

«Конечно, Вы будете Лаурой, — с улыбкой сказал Федор Михайлович. — Ну, давайте распределять роли, а я буду гостем, только не «каменным», а Вашим, Лаура! Вот еще И. Н. Пущин (племянник декабриста), Н. О. Осипов (он также увлекался Марией Николаевной), а уж Каменным гостем, конечно, должен быть Иван Ильич» (Назимов, молодой очень высокий красавец, только что начавший службу в государственной канцелярии). Я стоял возле Марии Николаевны, подходит К. К. Случевский: «А уж позвольте мне быть Дон-Жуаном», — сказал он, также усердно ухаживавший за Марией Николаевной. «Так, так, — говорит Федор Михайлович и показал рукой на Загуляева, — «Дон Карлос», «Лепорелло» — Дмитрий Васильевич (Аверкиев — драматург), Донна Анна — София Викторовна (жена Аверкиева), «а я, — почти шепотом сказал, подходя и улыбаясь, Н. Н. Страхов, — «монах». Так все роли и распределились. Началась «считка». А меня послали спать!

Репетиции были назначены два раза в неделю перед началом «журфикса», их было, кажется, 3 или 4 — упорные и настолько серьезные, что я, прислушиваясь, все роли выучил наизусть и до сих пор их помню. Меня и мою

сестру репетиции и приготовления очень волновали, тем более, что все домашние во главе с бабушкой были в хлопотах, готовясь к спектаклю <...>

Не помню точно месяца и числа, когда состоялся спектакль. Он был устроен без всяких подмогток, декораций, кулис и прочих необходимых в таких случаях приспособлений. Поставлен он был в нашей зале, наполовину представлявшей сад (бабушка была большая любительница цветов и растений), вместо кулис перед сценой стояли ширмы, а между ними протянуты на шнурах на обе стороны раздвигающиеся занавески. Перед каждым действием сцена по требованиям видоизменялась при помощи наших домашних и актеров, и несмотря на такое простое устройство, спектакль был проведен серьезно и художественно (действующие лица говорят сами за себя). Актеры все были в соответствующих пьесе костюмах, и даже Федор Михайлович Достоевский был в малиновом бархатном костюме с буфами и шпагой. Перед сценой в зале стояли рядами стулья. Гостей было очень много. В первых рядах, помню, сидели Владимир Соловьев, рядом с ним графиня Толстая (вдова поэта Алексея Толстого) и ее племянница Хитрово. По другую сторону Новикова (друг английского премьера Гладстона) с огромным зеленым попугаем на шляпе. Далее поэт Жемчужников, Вышнеградский*, Полонский, Майков, Стасов, Стасова... Дамы, кавалеры... Остальные присутствующие слились в моей памяти. Под звуки рояля раздвинулись занавески: находившиеся в зале растения и цветы, среди которых всегда стояли мраморные статуи, должны были представлять из себя *Camro santo*. Впереди на мраморный постамент стал И. И. Назимов, весь белый со шлемом на голове — Командор. Действие 1-е — любовное объяснение Дон-Жуана с Донной Анной (Случевский — Аверкиева). Лепорелло (Аверкиев) небольшого роста, с большим животом, отекившим лицом, крючковатым носом и хриплым голосом (это была всегдашняя особенность Дмитрия Васильевича), обращаясь к статуе Командора, производил такое комическое впечатление, что статуя затряслась. В это время по сцене проходил монах (Страхов). Назимов едва удерживался от хохота. Это все заметили, и мы, дети, Статуя кивнула. Занавески задвинулись.

Действие 2-е, сцена с Лаурой. Федор Михайлович (Достоевский) сидел в глубине комнаты (растения и цветы были раздвинуты, виднелся балкон), сидел он рядом с Пушиным и Осиповым на фоне зеркала, слегка облокотясь на столик, издали наклоняясь к Лауре, которая обратилась к Дону Карлосу (Загуляев): — «Пойди открой балкон...» Раздался стук в дверь, и появился Дон-Жуан!.. Схватка!.. Действие кончено.

После аплодисментов гости начали выходить в фиммуар и в столовую, обмениваясь впечатлениями. Я остался в зале и помогал прислуге расставлять стулья по местам и наводить порядок, пока участники спектакля снимали свои костюмы.

Первыми появились в зале мужчины: Иван Ильич и Страхов, а за ними спешил Федор Михайлович Достоевский и слегка ковылял Аверкиев, покашливая и чихая. Иван Ильич залился хохотом. Все от души смеялись, не исключая и Достоевского, что меня очень поразило, потому что я его видел постоянно угрюмым и серьезным, а тут он как будто переродился. В это время с другой стороны выплыла София Викторовна Аверкиева в своем неизменном черном платье с очень длинной кружевной косынкой на голове, в которой появлялась всегда и везде, и в ней же сыграла, имитируя испанку. За ней выбежала Лаура, не желавшая снять своего костюма, который к ней совершенно не шел и даже портил ее, ярко-красный с черным, глубокое декольте, короткая юбка, до плеч обнаженные руки с золотыми обручами выше локтей, соединенные цепями с такими же браслетами у кисти. Костюм совершенно не стильный и не гармонизировавший ни с ней самой, ни с остальными действующими лицами.

Меня очень удивлял Федор Михайлович. Я внутренне побаивался его. Увидя Марию Николаевну, он захлопал в ладоши, смотря на Страхова и на Назимова, и все время смеялся. Смеялись и все, и Мария Николаевна звонко хо-

* Тогда директор Технологического института (прим. авт. — Г. К.).

хотала, а Аверкиев что-то бурчал себе под нос. Достоевский очень оживленно обращался то к одному, то к другому и все же останавливался на Марии Николаевне. Теперь я объясняю себе его желание, хотя бы пассивно (в качестве гостя Лауры) участвовать в спектакле. Это именно было увлечение Марией Николаевной. К нему очень шел его костюм, он подымал его наружность, скрывая чахлую фигуру и придавая всей сцене некоторую торжественность. Мне больше всего понравился Страхов (монах) и Лепорелло (Аверкиев). Смотря на них и слушая, я совершенно забывал, кто это такие, хотя был искренно к ним привязан и очень их любил. На веселый шум участников спектакля стали появляться ушедшие зрители. Образовывались группы, раздавались громкие голоса, а в это время разносили чай, фрукты и конфеты. Ближе было к полуночи, и мы с сестрой отправились в свои комнаты, расположенные по длинному коридору, и легли спать, полные впечатлений и грез. Долго еще мы с ней деламировали любимые места из разыгранной пьесы, стараясь подражать голосам и жестам действующих лиц.

Я помню, как сестра моя (старше меня на 4 года) с ужасом рассказала мне, что когда она была в бабушкиной комнате, где перед началом спектакля дамы одевали свои костюмы и она помогала им, а С. В. Аверкиева прихорашивалась, туда тихонько пробрался Ф. М. Достоевский (он на сестру мою производил впечатление «гнома» и недоброго), он подсел к М. Н. Бушен и, потрогав ее, по тем временам, «рискованно короткую» юбку, с присущей ему ехидной улыбкой, настойчиво домогался у нее, чтобы она показала ему свои ножки, говоря: «А ну-ка! Дайте, дайте мне посмотреть Ваши ножки, какие они у Вас?! Какие? Лаура».

Сестра была изумлена и очень сконфужена этим.

Вот какие различные бывают впечатления: тогда как Ф. М. мне представлялся таинственным и жутким «пришлецом» и странником, и напоминал мне исповедь и «головы», и я страшился его, сестре моей, Веруше, он просто был неприятен и отталкивал ее, напоминал «гнома», должно быть, под влиянием сказок и описанного случая с Марией Николаевной Бушен («Лаурой»).

Со времени этого спектакля я особенно внимательно стал всматриваться во все окружающее, присматриваться ко всем знакомым и особенно к Федору Михайловичу Достоевскому, с этого года почти ежедневно приходившему к нам и подолгу беседовавшему с моей теткой Еленой Андреевной, которую он очень ценил и уважал, называя ее «министром в юбке», за ее редкую образованность, ум и глубокое знание и понимание литературы как русской, так и иностранной (она владела языками французским, немецким и английским, как своим родным русским). Он особенно дружил с ней и с ее братом Адрианом Андреевичем — юристом, с которым постоянно советовался, описывая судебные дела в своих романах.

Спустя некоторое время после спектакля мать моя и тетя Леля повели меня в гости к Федору Михайловичу. Он жил тогда на углу Кузнечного и Ямской (теперь улица Достоевского), во 2-м этаже (к этому дому сейчас прибита мраморная доска: «Здесь жил и умер Федор Михайлович Достоевский»), по парадной с улицы без швейцара. Лестница была темная, грязная. По ней беспрепятственно бегали и пачкали кошки, и по запаху она очень напоминала черную. Если я не ошибаюсь, квартира была из 5-ти небольших комнат, частью выходящих на улицу, частью во двор.

В ней я впервые познакомился с детьми Достоевского, моими сверстниками Федей и Лилей. Нас встретили очень радушно. Хозяйева занялись со старшими, а меня дети подхватили играть. Пробыли мы у Достоевского часа два. Я все время был с детьми и только уходя попал в кабинет, уставленный книгами, со столом, покрытым рукописями. Кабинет, мне казалось, был больше других комнат, неудобный и очень скромно обставленный. Ни стены, ничто вокруг не обращали на себя моего внимания. Он напоминал мне рабочую комнату завязанного, заурядного педагога. Тетя Леля почти еженедельно бывала у Достоевских и, кажется, обедала у них вместе с Н. Н. Страховым. После одного из таких обедов она, возвратясь домой, рассказывала нам, что у Федора Михайловича из передней утащили шубу, долж-

но быть один из посетителей под видом студента. Студенты и курсистки усердно и во множестве посещали Федора Михайловича, приходили и за советом, и за помощью. Когда мог, он никогда никому ни в чем не отказывал, сам подчас изрядно нуждаясь. Так шуба и исчезла без следа. В другой раз прибежавшая к нам жена Федора Михайловича, Анна Григорьевна, со слезами и обидой жаловалась на то, что у них скоро все растащат: «сегодня стащили бронзовую доску с двери, с надписью: «Федор Михайлович Достоевский»,— и жалобам на частые посещения и вечную помощь, «когда сами не знаем, где взять» — не было конца. Подобные вопли происходили не раз в моем присутствии, а Федор Михайлович на все это наивно махал рукой и грустно улыбался.

Как-то, когда я опять был у Феде и Лили, Федя повел меня в одну из комнат, кажется, в столовую, и там показал мне направо у окна на стене багетную рамку, где под стеклом была какая-то грамота *. По моему росту она висела довольно высоко, и я не мог различить, что в ней было написано. «Ты знаешь, это что?» — сказал мне Федя. «Тут написано, что папу никогда больше не будут бить плетью, — его помиловали». Мне стало так жутко, что я не знал, куда мне смотреть, куда мне деться. Это было для меня так неожиданно и так дико, ново и тяжело, что меня начало душить, мне хотелось рыдать, но я сдержался и потихоньку матери моей сказал, что мне нездоровится, прося поскорее увести меня домой. Возвратясь, я долгое время проплакал, ни слова не говоря, и мне было стыдно и за все, и за себя. Так я и не сказал о причине своих слез, и только лет через 20, когда разговор с матерью случайно зашел о Достоевском, я рассказал, почему я больше не пошел к Феде и Лиле, а предпочел, чтобы они приходили ко мне. Когда они бывали у нас, мы играли в различные детские игры, преимущественно в бирюльки. И Федя и Лиля были малоподвижные и мало чем-либо интересовались, и мало что их занимало особенно. Я же очень любил рисовать, и с годами у нас все меньше и меньше оставалось общего. Федя поступил к Гуревичу, Лиля, кажется, в Литейную гимназию.

Весной мы переехали на новую квартиру, там же на Знаменской, наискосок от прежней, — угол Баскова переулка, в дом Сидорова, впоследствии дом Ралля, где вся наша квартира выходила на улицу — 17 окон по фасаду, что очень редко бывало в Петербурге. Федор Михайлович особенно часто стал посещать нас. Я подрастал и пристально всматривался в него, и хотя он всегда, приветливо здороваясь, ласкал меня и улыбался, я никак не мог подавить в себе чувства неопределенной жути, чувства сродного тому, что я испытал, когда сын его Федя пояснил мне содержание грамоты. Достоевский мерещился мне и во сне, и хотя я всегда приходил к нему, когда он бывал у нас, я принужден был бороться с внутренним чувством подавленности.

Федор Михайлович Достоевский слегка сутулый, небольшого роста, но костистый, фигура его обыденно простоватая и незаметная. Одежда, всегда от хорошего портного и доброкачественного материала, на нем, казалось, была как-то чужая, как будто он не умел ее носить. Голова обычно немного опущена, как у задумавшегося человека. Большой лоб с налитыми на висках венами, редкие прямые волосы, немного нависшие на брови, глубоко сидящие и смотрящие исподлобья небольшие сероватые глаза, а взгляд их заставлял обратить на себя внимание. Они то загорались, то потухали, и зрение их было какое-то двойное — вперед безучастно блуждающее и куда-то еще смотрящее — внутрь себя. Довольно крупные усы и редковатая, как будто бы чужая, неживая, приклеенная борода, бледная зеленоватая кожа придавали мертвенность лицу и бесцветность всему его облику. Голос глухой, заискивающе-подавленный. Все это на очень многих производило

* Очевидно, даровавшая Ф. М. в 1858 году потомственное дворянство. (Примечание А. П. Эйснера неверно. Дворянского звания Достоевский был удостоен в 1828 г. семи лет от роду. Отец его, врач Марининской больницы для бедных, был «за выслугу узаконенных лет награжден чином коллежского асессора» и занесен со своими сыновьями в книгу Московского потомственного дворянства. Возвращение Достоевскому дворянского звания, которого он был лишен в 1849 г. как политический преступник, произошло не в 1858 г., а 14 сентября 1856 г., когда после четырех лет каторги в Омском остроге и трех лет солдатчины (рядовым — два года и 11 месяцев унтер-офицером) в Семипалатинском линейном батальоне он был произведен в прапорщики. «Я милостью Монарха прощен, произведен в офицеры вот уже скоро год и недавно получил прежнее потомственное дворянство», — писал он 29 июля 1857 г. И. В. Ждан-Пушкину. — Г. К.)

неприятное впечатление, и его сторонились и не любили. Но как писателем и знаменитостью интересовались и из любопытства искали с ним встречи. В обществе его не считали ни симпатичным, ни светским. Когда появлялся среди большой публики, он присанкивался, подымал голову большой знаменитости, преобразался и по-своему царственно вступал на эстраду. Голос его, слегка дрожащий, становился громким и глубоким. Он говорил в этих случаях книжно, словом тяжелым, неразговорным. Когда приходил к нам на «журфиксы», увидев из передней большое общество, он прихорашивался, слегка сгорбившись, усердно потирал себе руки, а затем выпрямлялся и с любезной горделивой улыбкой вступал в зало. Когда же запросто заглядывал к нам, у нас он бывал совсем другим — «свой у своих» — и не говорил, а беседовал интересно, без претензий, своеобразно.

И хотя Федор Михайлович был как будто бы «простой», все же и наедине он был «сам не свой»: вечно в каких-то внутренних противоречиях человека, ищущего в человечестве красоты и истины божественной, и в то же время падающего в какую-то бездну неизвестную и непреодолимую. Зачастую вдруг становился он капризным, как ребенок, цепляясь за самые пустяки. Так, я помню на одном замкнутом, но многолюдном вечере в зале Павловой, что на Троицкой улице (ныне ул. Рубинштейна), на выступлении тогда гремевшего Андреева-Бурлака, который на сцене в больничном халате и колпаке читал «Записки сумасшедшего», Достоевский по окончании чтения вышел в буфет-столовую, где в числе распорядительниц мать моя разливала чай. Увидав ее, Ф. М. любезно подбежал к ней, поцеловав руку. Она предложила ему чаю и вместе с ним села за отдельный столик; и вдруг, ни с того ни с сего, он напустился на мою мать: «Что Вы мне дали за чай, Ольга Андреевна, Вы разве не знаете, какой я люблю», — и, оттолкнув стакан, наговорил ей разных дерзостей и так расхорохорился, что собрал вокруг себя толпу любопытных, а потом стал извиняться. Моя мать значения, конечно, этому не придавала никакого и, вернувшись домой, от души смеялась, рассказывая об очередном капризе Федора Михайловича. Такие капризы с ним случались периодически, нередко и неожиданно, иногда они кончались для него очень неприятно, производя на посторонних тяжелое впечатление и оставляя весьма скверный осадок. Он не был добродушным, но не был и злым; он был скорее, как я уже упомянул, «сам не свой», он не знал, когда на него «найдет стих» и какой... И хотя в нем заметно копошилась борьба, но как будто она была в нем каким-то посторонним элементом, сидящим внутри его, не дающим ему покоя и заставляющим постоянно терпеть его — до того момента, пока это терпение не лопнет и не разразится ввиду сумасбродного каприза или даже просто бестактности.

Конечно, друзья Федора Михайловича знали эту его особенность, будучи всегда готовы благодушно отнестись к этому. Посторонние же находили это безобразием распустившейся знаменитости и распространяли о Федоре Михайловиче недоброжелательные слухи.

На мой взгляд, Достоевский был болезненно и скрытно тщеславен, любил, чтобы ему кадили, от большинства ожидая или затаенно требуя даже поклонения. Меня он подавлял и в то же время притягивал. Я зорко наблюдал за ним, когда я встречался с ним, а встречи эти были весьма часты, почти ежедневны, и продолжительны. Проводил он у нас запросто иногда многие часы. Чтобы он когда-либо обедал у нас, я этого не помню, несмотря на то, что друг его и нашего дома Н. Н. Страхов еженедельно в определенные дни приглашался к обеду. Он усердно запивал съеденное содовой водой и неизменно по обычаю своему, отобедав, тотчас же уходил к себе домой, чтобы лечь на боковую.

Федор Михайлович вообще не любил кушать нигде, кроме дома, где за этим строго следила его верная соратница и домовитая жена Анна Григорьевна. При жизни Федора Михайловича она, кажется, в виде исключения, бывала с ним вместе у нас на журфиксах, да и так хлопотливо частенько забегала не то за советами, не то с жалобами. Она вечно, до смерти Достоевского и после, была в хлопотах, иначе я ее не помню, и так же хлопотливо говорила. Говорила «скороговоркой» с прибавкою к каждому слову «и вот говорит», «что говорит», «да говорит», и при этом, если не жаловалась, не плакалась, то с неизменной улыбкой и неестественным хохотком. Говорила неинтересно и неинтересное. <...>

Еще среднего роста, худощавая, костистая, она одевалась скромно, но из добротного материала, носить платье, как и ее муж, не умела.

Как она нам поведала, ее давнишней заветной мечтой было иметь тогда вошедшие в моду бирюзовые серьги в бриллиантовой оправе, как у бар. Таточки Врангель, дочери приятельницы моей бабушки... И вот однажды она явилась к нам на журфикс сияющая в бриллиантовых серьгах, но без бирюзы. Подарок этот сделал ей Федор Михайлович, получивший давно ожидаемый гонорар.

Анна Григорьевна была очень счастлива и горда этим вниманием мужа и все хвалила и благодарила его, и никогда эти серьги не снимала (по этому поводу один из наших знакомых сострил: «что у Анны Григорьевны всегда в ушах произведения ее мужа»). Блондинка с простой гладкой прической, из-под которой на обе стороны постоянно отделялись пряди жидких волос, тогда бальзаковского возраста, с довольно правильными чертами лица, с прямыми рубленным подбородком, с сухими тонкими губами, нос прямой, на конце красноватый и мягкий, глаза серые, смотрели прямо на собеседника с чувством собственного достоинства, кожа на лице пористая, к подбородку еще несколько грубоватая; она не производила никакого впечатления и очень напоминала финку.

Она и Ф. М. с детьми вообще, и с нами в частности, старались быть особенно ласковыми, но эти старания всегда отзывались холодком, в этих ласках чувствовалась неискренность, деланность. Уже после смерти Достоевского (в 1883 — 1884 гг.), как-то на елку Анна Григорьевна, в виде особого благоволения, поднесла мне книжку «Русским детям», выборки из произведений Федора Михайловича. Книга в красном тисненном золотом переплете, на первой странице которой она написала, что дарит эту книгу мне. Подарок этот волею судеб сохранился у меня до настоящего времени и настолько, что можно подумать — он только что мною получен, а не как раз полстотни лет тому назад.

Федор Михайлович Достоевский был крестным отцом моего двоюродного брата Бориса Штакеншнейдера, сына младшего моего дядюшки Владимира Андреевича. Крестник умер 7-ми лет от дифтерита.

Пожалуй, в то время, в самом конце 70-х годов и до самой смерти, у Федора Михайловича дом наш был самый близкий для него. Я не скажу, чтобы все наши особенно его любили, но относились к нему доброжелательно и ценили его, что и доказали на деле дядя мой Адриан Андреевич и тетка Елена Андреевна Штакеншнейдер, принявшие самое деятельное участие в устройстве его похорон. Моя мать рассказывала, что в день похорон в квартире Достоевского было такое множество народу, что не только нельзя было пошевелинуться, но трудно было дышать. Тетку мою Е. А., больную ногами, поставили на подоконник, а свечи тухли от спертого воздуха. Многие хоронившие несколько десятков лет спустя В. Комиссаржевскую говорили, что похороны ее напоминают похороны Достоевского; я же, видевший те и другие из окна (в обоих случаях я по нездоровью не выходил), скажу: таких похорон, как похороны Достоевского, я ни до, ни после не видывал, и грандиозностью своей они представляли нечто небывалое.

Достоевский долгое время собирался читать, и вот в нашей новой квартире он решил прочесть из оконченных «Карамазовых», что именно, какую главу — я не помню. Мне слушать запретили, и потому я украдкой поместился за одной из стоявших в гостиной среди зелени мраморных статуй. Меня интересовал Федор Михайлович. Я, как подросток, ко всякого рода «знаменитостям», постоянно посещавшим наш дом, и ко многолюдью привык. А за Достоевским я просто охотился, изучая его до мелочей — настолько, что многое, незаметное другим, не ускользало от меня.

И вот перед самым чтением, я помню, оно началось ровно в 8 часов, я спрятался в зелени за колонной и во «все глаза» следил: Достоевский сидел на своем любимом угловом старинном, обитом красным штофом диване, у своего любимого оригинального стола с инкрустацией. Перед ним лежала рукопись. По бокам стояли два больших бронзовых канделябра, каждый в 5 зажженных свечей (электричества тогда и помину не было). Они бросали таинственный свет, который играл мерцающими полутонами и по штофу, и по рукописям, и

по сидевшему в молчаливом ожидании, потиравшему свои руки Ф. М. Приподнятое лицо его было бледно, бесцветно, как всегда, глаза глядели прямо на гостей, сидевших вокруг него и далее. Взгляд был неопределенный, пространственный, слегка насмешливый, как бы прислушивающийся и в то же время выжидательно торжественный. Рот полуоткрыт, готовый заговорить. Подобное бывало с ним часто в минуты задумчивости, которые наступали у него иногда сразу, совершенно неожиданно, даже среди разговора или перед началом «наприза». И когда он так застывал, мне казалось, он сейчас зашепчет — зашепчет зловещим шопотом зловещего шептуна: наклонится, сгорбится, сначала издали, потом все ближе и ближе... к самому уху, как будто хочет войти в тебя, терзая твои нервы и окутывая жутью. Заморгает, закивает, погладит, потрет себе руки и станет опять таким обыкновенным — не Достоевским, а незаметным Федором Михайловичем.

Такой он был, приготавливаясь начать чтение, только выжидательно торжественный, с едва заметной улыбкой полуоткрытого рта.

Картина была чрезвычайная. Она и сейчас стоит передо мною, живая, яркая, выразительная, рассказывающая многое о многом и о многих. Это страница эпохи. страница быта, страница мысли, никогда не оскудевающей в человеке. Я бы назвал эту картину «ожиданием».

Федор Михайлович сам ожидал, ожидали и все; и я ожидал, увлеченный, спрятавшийся среди растений за статуей.

Не смотря в рукопись, Достоевский начал...

Голосом мерным, плавным и тихим...

Перед ним на обитом штофом кресле полуразвалился грузный И. А. Вышнеградский (в скором времени министр финансов). Сидел он, ухватившись за ручки кресла; красная голова с сединой и седыми фаворитами, бритые усы и тяжелый подбородок с большим ртом, большие роговые очки на мягком прямом носе и маленькие умные глаза сосредоточенно, почти в упор, были устремлены на Федора Михайловича. Вышнеградский походил на дородную «гориллу». А рядом с ним у стенки самого дивана направо от тещи скромно расположился целый цветник молодых женщин: бар. Таточка Врангель, обаятельная блондинка с огромными задумчивыми серо-голубыми глазами, с необыкновенно ласковыми правильными чертами лица и миниатюрная, худенькая, со сросшимися бровями, прелестная бар. Вера Петровна Витте, а рядом с ней М. Н. Бушен. Все слух и внимание.

Тут же, с другой стороны, пред большим столом, покрытым старинной бархатной скатертью, на котором стояла огромная бронзовая фигурная лампа с матовым абажуром глобусом, бросая на окружающих бледный свет. <Так в тексте. — Г. К.>. За ней влево от Федора Михайловича на соседнем диване сидела вся в черном, в накидке, близорукая Н. В. Стасова в обычной для нее позе знаменитого портрета, писанного с нее впоследствии И. Е. Репиным. Рядом с нею маленькая, сгорбленная, но еще очень бодрая мать Веры Петровны, также вся в черном. И Анна Ивановна Майкова, все в чепцах. На своем неизменном месте, на кресле, восседала теперь немая торжествующая А. Г. Достоевская.

Позади Вышнеградского, в полоборота, сидя боком и положивши короткую ножку на ножку, опираясь на спинку стула локтем и запустив растопыренную пятерню в остаток редких всклокоченных волос и наполовину прикрывая лысину, примостился Д. В. Аверкиев, и комичный, и симпатичный со своим неизменным животиком, отекившим лицом, с огромными мешками под близоручими навывкате глазами, жидкими усами и такой же жиденькой маленькой бородкой. Глядя на него, так и кажется, что он сейчас заговорит своим тяжелым силным голосом. Но он молчал, полный ожидания и слуха...

Все остальное многолюдие не вошло в этот момент в круг моего зрения. Эта живая картина всецело увлекала меня и приковывала к себе все мое существо: а ну-ка, какой теперь будет Федор Михайлович?!!

Увижу ли я в нем что-нибудь «новое», что-нибудь еще «неожиданное», или я еще недостаточно изучил его? Откроется ли мне еще что-нибудь скрытое — такое, как он сам?

Сердце у меня нещадно билось, я волновался, мне хотелось броситься к самому столу с канделябрами, войти во внутрь чтеца-«чародея», чтобы вполне разгадать его, чтобы он меня больше не мучил. Для меня тогда Федор Михайлович становился видимым и невидимым мучителем моего взбудораженного воображения, неожиданно с неимоверной силой болезненно возбужденного откровением Федя Достоевского.

Его отец представлялся мне во сне то таинственным, чурающимся людей странником, какие во множестве тогда таскались по Руси, то зловецким чернецом, таинственно подкрадывающимся ко мне, то что-то нашептывающим. То бездомным больным бродягой, хватающим меня за горло, то ласкающим меня и глухо говорящим непонятные, неслышанные, заковыристые слова — отрывистые, страшные, как молотом битые, смысл которых я не понимал и звука их как будто бы не слышал, но ощущая что-то, но что и сам не знал, но становилось мне от них жутко, жутко.

Под этим впечатлением я просыпался, и подолгу оно гнездило во мне, оставляя осадок неопределенно горького чувства. Я уверял себя, что этого быть не должно. Задавал себе вопрос, от чего все это. Ф. М. — друг наш, а я никак не могу к нему привыкнуть, привыкнуть и полюбить, как люблю Страхова, Майкова, Полонского, Аверкиева и других наших близких...

Чувство неразгаданной обиды на самого себя сидело во мне колом и постоянно тормозило меня. Я задумывался и терялся. Таким был тогда для меня Достоевский.

Федор Михайлович читал... Часы пробили половину десятого. Прошло еще минут десять — читал среди всеобщего напряжения, среди общей невозмутимой тишины и меня, смотревшего «во все глаза» на чтеца, на всю эту застывшую близ него группу, — читал... Голос его едва заметно ослабевал и замер на последней фразе. Спокойно он берет стоявший перед ним стакан воды, которую глотает, сумрачно смотря вперед пространственно и безучастно. Молчание... Перед самым столом Вышнеградский слегка склоняется к чтецу, снимая очки. Передние ножки кресла подломились и... грузная «горилла» с очками в руках очутилась на полу, задравши ноги. Чей-то вырвавшийся нервный смехок всколыхнул оцепенение. Аверкиев в ужасе растерянно отпрянул в сторону, повторив сцену с «командором», но только сидя. Все устремляются вперед, но как-то втихомолку; как будто кто-то сделал что-то стыдное. Произошло смятение, спешат на помощь уже естрепенувшиеся мужчины...

Все обошлось благополучно, и почтенный сановник с цельными очками в руках, виновато улыбаясь, с остраткою садится в подставленное ему другое кресло.

Один лишь миг, как все это свершилось!

А Достоевский, окончив чтение, невозмутимо, безучастно застыл, полураскрывши рот, и пальцы его замерли на рукописи...

Вышнеградский с силой захлопал в ладоши, остальные подхватили, и взрыв аплодисментов покотился по зале!..

Федор Михайлович очнулся. Лукавая едва заметная улыбка скользнула по его лицу. Он порывисто встал, закрывши рукопись. Застыл, потом сразу направился к моей тетке, которая на костылях спешила к его столу. Хозяева были счень сконфужены. А я опрометью бросился из залы.

Чтение не было сорвано. Достоевский остался спокоен и заботливо, говорят, осведомлялся у Ивана Алексеевича (Вышнеградского), не зашиб ли он себе «сидение»! И еще сострил, что ему, быть может, полезно было «встряхнуться», так как он застыл и слишком внимательно, не шевелясь, слушал его. И, обращаясь к хозяевам, не без схиждства заметил: «А я помнить буду «этот случай со стулом»!.. Хотя Карамазовы не пострадали, ведь я их у вас окончил «до падения!»

Это настоящее его благодушие надо объяснить себе исключительно расположением к нашей семье, иначе был бы «каприз и великий»!!!

Меня немало удивляло то, что милый, разговорчивый и веселый, похожий на кота, Н. Н. Страхов никогда, никогда ни о Федоре Михайловиче, ни о его семье вообще не говорил ни слова, а между тем еженедельно обедал у них и пос-

ле этого вскорости бывал у нас. Я заметил также, что Федор Михайлович с прочими литераторами и поэтами, кроме Майкова, Случевского, Аверкиева и немногих других, бывавших у нас, как говорится «не был ни в каких отношениях». И только с Григоровичем часто прогуливался по улицам Петербурга, поддерживая с ним постоянно дружескую связь. У нас же Григорович и Тургенев, если и бывали, то очень-очень редко, хотя оба в молодости участвовали в спектакле, устроенном бабушкой в пользу сосланного поэта Михайлова <...>

Как-то Федор Михайлович появился у нас, пройдя прямо в комнату к тете Леле. Уселся он на свое любимое низенькое старинное с решеткой и подушкой кресло, раскинулся в нем, протянул ножки, потрел бородку, потер рука об руку, устремил взор перед собой на стенку, в одну точку между старинным золоченым зеркалом и во множестве висевшими тут же портретами. Вдруг обратился к тетке вкрадчивым глухим чуть слышным шопотом: «Елена Андреевна, а что думает клоп, когда он ползет по стенке?» — и с язвительной вкрадчивой улыбкой тогда посмотрел на нее, недоумевающую.

Я в это время остановился в дверях столовой и тетиной комнаты и остолбенел от неожиданности. Я видел близ себя изумленную и насторожившуюся мою тетку, а в зеркало лицо и всю фигуру Федора Михайловича, наклоненную к самому лицу собеседницы. Затем он вмиг откинулся, замер, полураскрыв рот в ожидании. Я стоял полный недоумения. Когда я взглянул на стену, я действительно увидел медленно ползущего клопа; не предвидя, чем вся эта сцена окончится, я застыл на месте. У тети Лели заиграла на лице улыбка. Она затаилась папироской и первая нарушила молчание: «А что, Федор Михайлович, отчего Вы так заинтересовались мыслью клопа?» Достоевский ничего не ответил и также улыбнулся и опять поглядел бородку.

Меня не замечали. Я решил придти на помощь и бросился давить клопа. Произошла суматоха из-за неожиданности. Ф. М. вскочил с места и как-то неуклюже стал переминаться с ноги на ногу, а тетка, остановив мою прыть, звала прислугу убрать злополучного клопа, привлечшего внимание знаменитого писателя и сконфузившего своим неуместным и неожиданным присутствием тетю Лелю.

«Вы и его и меня перепугали, Лешенька, здравствуйте», — сказал, пожимая мне руку и лаская, Федор Михайлович. «Да, вот какие бывают эпизоды в жизни, какие неожиданности... И все это жизнь, — продолжал он, обращаясь к тетке и ко мне, и к вошедшей в это время прислуге, — да, да, Анна Ильинишна», — глухой теткой горничной, прожившей у нас в доме более 50 лет.

Клоп был счастливо пойман и унесен. Я также ушел, впервые не испытывая жутки прикосновения и встречи с Федором Михайловичем. Как будто мне кто-то развязал руки. Неужто причиной был клоп?! И у меня в ушах слышался простой, не вкрадчивый шепоток и не плавно деланный, а впервые простой голос: «Какие неожиданности... и все это жизнь!».

Часа через два Достоевский ушел. Тетя Леля пришла к бабушке и рассказала о своем конфузе с клопом. Обе они весело смеялись. Я чувствовал в себе какую-то легкость освобождения и заглянул к бабушке в комнату; она меня поманила и спрашивает: «И ты помогал?», и смеется. Тут я решился в первый раз спросить о Федоре Михайловиче — отчего он такой странный? Бабушка ответила: «Он не странный, он больной. У него бывают припадки; ведь он был на торге, много тяжелого перенес и испытал; все это отразилось на нем, и он как великий писатель — задумчивый».

Этот ответ меня мало удовлетворил, но я больше не спрашивал, стремясь сам себе объяснить и разобраться в своих впечатлениях и переживаниях.

Помню еще, когда в комнате у Елены Андреевны — бабушка, Достоевский, моя мать и я собрались все вместе. Бабушка вязала свое неизменное пестрое сдеяло, обыкновенно для одного из ее многочисленных внуков, тетка с протянутыми на кушетке большими ногами покуривала из длинного янтарного мундштука насыпную папироску <...> «Кому это Вы опять, Марья Федоровна, одеяльце, не для Бореньки ли?» — обратился Федор Михайлович к бабушке. «Нет,

для Софьи Ивановны» (жена дяди Адриана, рожденная Малиновская), и разговор сам собою перешел на семейную хронику.

«Вы вот все ищете, Федор Михайлович, материал для дальнейших «Нарамазовых», — говорила моя тетка. — А я давно Вам предлагала собрать с натуры в семействе барона Розена (декабрист, женатый на Малиновской — тетке Софьи Ивановны Штакеншнейдер). Материала непочатый край, что ни человек, то тип, и тип самобытный. Для Вас несомненно интересный. Да, пожалуй, это могло бы Вам дать идею и для нового романа. Семья совсем из ряда вон выходящая! Да и попутала она по Вашей Сибири и ссылкам! И я бы с Вами поехала. Хороший климат. полная чаша! Тишь — «земля обетованная!» И никто бы Вам не мешал. Отвели бы Вам целый флигель в Ваше распоряжение. Живи — пиши, питайся и отдыхай! Да и доктора прекрасные есть. Огромный сад, степь, леса, полные уединения. За Вами ухаживали бы, не хуже Анны Григорьевны. Подумайте-ка! И я давно там не бывала, тянет меня туда — и природа, и люди, очень интересные и «все в прошлом!» Да и настоящая жизнь культурная; новейшие русские и иностранные журналы, библиотека очень интересная; а старик Малиновский Иван Васильевич — товарищ по полку Розена и друг и товарищ Пушкина, у него много пушкинских реликвий. Сестра его, Мария Васильевна Вольховская, проводящая молодость, не расставаясь с мужем при завоевании Дагестана — ведь он взял в плен Кази-Мулу, первый мюрид, учитель Шамиля, — и Пушкин за ней ухаживал еще лицеистом. Она была очень красива. Ее рассказы бесконечны! Отдохнете Вы там душою и телом и много наработаете. И расходов Вам никаких, кроме дороги!»

Достоевский сидел, судорожно схватив руками длинные ручки кресла, сосредоточенно, внимательно слушал, как будто что-то соображая, и вдруг закопошился, встал, потирая руки. Потер лоб и, обратясь ко всем нам, сказал: «Да, да, надо поехать, я в этих краях не был, «заграница» мне надоела. Вы говорите — материал богатый! Да, да — материал есть, да материал серьезный, да, я Вам вполне верю, Елена Андреевна. Да, я поеду. Согласен! Надо к этому подготовиться. Поеду, поеду. Ну, а теперь до свидания!» И распроставшись со всеми нами, он поспешил домой.

И каждый раз, когда он снова бывал у нас, сам наводил разговор на эту поездку. Видно было, что действительно он ею заинтересован не на шутку и вполне серьезно намеревался ее осуществить.

«Только не знаю, как Анну Григорьевну с детьми оставить?!» — говорил он моей тетке. «В Руссе, что ли, пускай поживут? Я поеду вперед, а Вы приезжайте потом; или нет, Вы поезжайте — подготовьте, а я за Вами приеду». Видно было, что он колебался, и хотел и не решался... Сначала дела ему мешали — писательство, затем кое-какие финансовые расчеты. Семейные дела... Так и не побывал он у Розена!

Когда еще последний раз был у нас Достоевский, он неоднократно упоминал об этой поездке.

Только последнее время мне все реже и реже приходится вспоминать Достоевского. Как-то не встречаешь подобного вида людей! А то за свою с лишком 35-летнюю деятельность по изучению древней стенописи мне приходилось близко соприкасаться с духовенством черным и белым, русским и грузинским, и среди них попадались мне такие старцы, страннички и зловеще жуткие исповеднички. Хотя я и весьма был далек среди своей напряженной археологической работы от всяких иных мыслей, но, тем не менее, при виде их, мне невольно тогда вспоминался Федор Михайлович Достоевский — и он вырастал передо мной, как живой, со всеми моими отроческими впечатлениями <...>

Прошло некоторое время со смерти Федора Михайловича. Вдова Достоевского переехала на новую квартиру, совсем не помню куда. Анна Григорьевна тогда начала удачно реализовывать произведения своего покойного мужа и квартира ее была хорошая, но и ее я не помню.

Одно лишь запечатлелось у меня — это угол у окна гостиной: тропические растения, финиковые пальмы поставлены так, что сразу напоминали присутствие покойника. На черном мольберте в черной раме в натуральную величину — порт-

рет Федора Михайловича, рисованный соусом, Крамским. Под ним на постаменте также в черной раме со стеклом — ящик, в нем бронзированная маска покойного писателя. Кругом мирты и венки с лентами и без лент. У портрета пальмовая ветвь — впечатление мертвенного покоя! Кругом тишина и пустота. Остального я не помню. Остановился я в этом углу и долго пристально смотрел на маску и на портрет, и не было во мне жути, неловкого подавленного щемящего чувства. Но не было и Федора Михайловича! Маска измученного страдальца, чем-то напоминающая Христа. Сухие осевшие черты лица ничуть не давали понятия о живом Достоевском. Портрет, первоклассно исполненный таким мастером, как Крамской, не давал мне того Федора Михайловича, который в продолжение нескольких лет почти ежедневно стоял у меня перед глазами. Ни в одной из фотографий, имевшихся у вдовы и у нас, ни в портрете маслом Перова для меня Достоевского не было. У Перова он пришибленный, согбенный, задумавшийся. У Крамского: — «отошел». Вот что мелькнуло у меня в мысли, когда я пристально всмотрелся. Ушедшая в подушки, тяжелая мертвая голова покойника, его — Федора Михайловича здесь нет, он — «отошел»! Он не живой. Он умер. Закрыв глаза навеки, успокоился. Покой, покой! Вот что схватил и передал художник.

А Достоевский в жизни был «беспокойник»! Хотя он и не был, что называется, «живым». Он был тих, незаметен... И беспокойство его было внутреннее, вечное, своеобразное! <...>

1933 г. Ленинград

Публикация и вступительная статья Г а л и н ы К о г а н